УДК 821.16.1+821.133.1

ББК 83.3(2=411.2)+83.3(4)

<https://doi.org/10.22455/2619-0311-2020-3-40-67>

Илья Виницкий

ДЕВОЧКА НА КОЛЕНЯХ **Из истории русского руссоизма**

Ilya Vinitsky

MAIDEN ON MAN'S LAPS **From the History of Russian Rousseauism**

Об авторе: Илья Юрьевич Виницкий, доктор филологических наук, профессор кафедры славянских языков и литератур Принстонского университета (Принстон, США).

E-mail: vinitsky@princeton.edu

Аннотация: В истории западной культуры тема романтической любви к юной невесте является идеологическим конструктом (Руссо, Новалис, Эдгар По). Отношение к этой любви того или иного автора оказывается важным индикатором его религиозных, этических и эстетических взглядов, характерных, в свою очередь, для представляемого им культурного направления и в целом отражающих страхи и идеалы современного данному автору общества. В центре нашего внимания будет трансформация этой темы в творчестве позднего В.А. Жуковского, где она пересеклась с руссоистской по своему происхождению темой последней или «вечерней» любви. Мы постараемся показать, как канонизированный патриархом русского романтизма образ девочки-невесты преломляется в поэзии П.А. Вяземского, «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского и «Лолите» Владимира Набокова – произведениях, представляющих разные литературно-идеологические программы, отталкивающиеся в той или иной степени от «Исповеди» (1769, публ. 1782) Жан-Жака.

Ключевые слова: «вечерняя любовь», романтизм, пародия, Руссо, Жуковский, Вяземский, Достоевский, Набоков, «естественный человек», исповедальность, девочка, колени, бес, ребро.

Для цитирования: Виницкий И.Ю. Девочка на коленях. Из истории русского руссоизма // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2020. № 3(11). С. 40-67.

<https://doi.org/10.22455/2619-0311-2020-3-40-67>

About the author: Ilya Vinitsky, D. Litt., Professor of the Department of Slavic Languages and Literatures at Princeton University (Princeton, USA).

E-mail: vinitsky@princeton.edu

Abstract: The concept of romantic love directed towards a young bride is an ideological construction in the history of European culture as manifested in works of Rousseau, Novalis, and Edgar Allan Poe. Any given author's modification of this form of love is an important indication of his religious, ethical, and aesthetic beliefs, which are in turn indicative of his cultural trend and which reflect the fears and ideals of the given author's contemporary society. Here, I will trace the transformation of this topic in the late work of Vasily Zhukovsky in its intersection with the Rousseauist topos of the last or "twilight" love. I will also analyze the transformation of the image of the girl-bride, previously canonized by the patriarch of Russian Romanticism, in the poetry of Pyotr Vyazemsky, Fyodor Dostoevsky's *Crime and Punishment*, and Vladimir Nabokov's *Lolita* - works which represent different literary-ideological programs which respond in different ways to Jean-Jacques Rousseau's *Confessions* (1769, published 1782).

Keywords: "twilight love", Romanticism, parody, Rousseau, Zhukovsky, Vyazemsky, Dostoevsky, Nabokov, "natural man", confessions, maiden, laps, devil, rib.

For citation: Vinitsky I. Ju. Maiden on Man's Laps. From the History of Russian Rousseauism. *Dostoevsky and World Culture. Philological Journal*, 2020, No. 3(11). Pp. 40-67.

<https://doi.org/10.22455/2619-0311-2020-3-40-67>

Можно ли быть влюбленным в ребенка?

В. А. Жуковский.

профессор

филологии

до старости жених

Лиза Бедная.

Эта небольшая и (как мы отдаем себе отчет) рискованно-гипотетическая по своему характеру работа посвящена важной для русской литературы XIX–XX веков теме романтической любви к юной невесте. У этой темы, широко представленной в западно-европейской романтической традиции (Новалис, Эдгар А. По), в русской литературе есть своя дата рождения – дневниковая запись В.А. Жуковского (1783–1852) от 9 июля 1805 года, в которой он признается в возвышенной любви к своей 12-летней племяннице и ученице М.А. Протасовой (1793–1823), на ко-

торой надеется жениться, когда можно будет: «Грусть, волнение в душе, какое-то неизвестное чувство, какое-то неясное желание! Можно ли быть влюбленным в ребенка?» [Жуковский, 1999–2019, т. 13, с. 15]. В дальнейшем лирика, лирическая проза, переписка и своеобразная лирическая публицистика Жуковского стали выражением этой мифологизированной идеальной любви, в итоге потребовавшей от любящих отказа от личного счастья (брачного союза) и ставшей прототипическим «текстом» русской любовной поэзии XIX века (чаще всего в ее «мужской» огласовке).

В центре нашего внимания будет трансформация этой темы в творчестве позднего В.А. Жуковского, где она пересеклась с руссоистской по своему происхождению темой последней или «вечерней» любви. Мы постараемся показать, как канонизированный патриархом русского романтизма образ девочки-невесты преломляется в произведениях других авторов (П.А. Вяземского, Ф.М. Достоевского и Владимира Набокова), представляющих разные литературно-идеологические программы, отталкивающиеся в той или иной степени от «Исповеди» (1769, публ. 1782) Жан-Жака.

1. «Очищенный Руссо»

Поздней осенью 1854 года, русский путешественник князь П.А. Вяземский (1792–1878) отправляется на поиски дома своего покойного друга, поэта и педагога В.А. Жуковского в швейцарском местечке Верне – деревеньке, по словам последнего, незаметной на карте Европы, но слишком заметной на специальной карте его судьбы. Здесь, неподалеку от Веверс-Руссо и Кларана Байрона, зимой 1832–1833 годов он провел одну из самых счастливых «эпох» своей жизни, вылечился от мучительного заболевания и встретил свою будущую жену.

«В этом доме, – пишет Вяземский в “Старой записной книжке”, – Жуковский, вероятно, часто держал на коленях своих маленькую девочку, которая тогда неведомо была его суженая и позднее светлым и теплым сиянием озарила последние годы его вечерней жизни. Этот романтический эпизод хорошо вклеивается в местности, сохранившей живую память Руссо. Жуковский был очищенный Руссо. Как Руссо, и он на шестом десятилетии жизни испытал всю силу романтической страсти; но, впрочем, это была не страсть, и особенно же не романтическая, а такое светлое сочувствие, которое освятилось таинством брака» [Вяземский, 2003, с. 867]¹.

¹ Здесь и далее курсив мой, за исключением особо оговоренных случаев, – И.В.

В.А. Жуковский. Верне. 1833 г. NYPL.

О каком эпизоде из жизни Руссо здесь идет речь? Швейцарский контекст дневниковой записи Вяземского, скорее всего, намекает на страстную любовь Жан-Жака к молодой графине Софи д'Удето (Sophie d'Houdetot), связанной в творческом воображении писателя с образом главной героини «Новой Элоизы» (1757-1760) г-жи д'Этанж (Вольмар). В биографической мифе Руссо (1712-1778) эта любовь сорокапятилетнего Жан-Жака представлена как необыкновенная пламенная страсть, которую «он никогда ни прежде, ни после не испытывал и которая, оставаясь платонической, до того возмутила весь его организм, что он окончательно сделался патологическим субъектом в последующие годы его жизни» [Тимирязев, 1901, с. XXXIV]. Как подчеркивала Л.Я. Гинзбург, эта страсть стала «одной из роковых причин перелома, положившего начало последнему периоду жизни Руссо, мучительному, скитальческому и омраченному действительными и воображаемыми гонениями» [Гинзбург, 1977, с. 229]. И все же жгучая страсть к Софи, красноречиво описанная Руссо в «Исповеди», относится к более раннему периоду его жизни.

Возможным источником для рассуждения Вяземского могли быть «Письма к Саре» Руссо ("Lettres à Sara", 1762), написанные от лица седовласого пятидесятилетнего влюбленного к двадцатилетней девушке. В истории сентиментализма эти письма действительно служили образцом выражения любовных переживаний немолодого воздыхателя, адресованных к юному ангелу [Eigeldinger, 2009]. В 1806 году их перевел на русский язык Жуковский (перевод, между тем, не был напечатан). Приведем несколько примеров разрабатываемого 23-летним поэтом, недавно осознавшим свою влюбленность в юную племянницу, языка нежной страсти:

«покусись приковать меня к своей колеснице как воздыхателя с седыми волосами, как старого прелестника, не потерявшего еще (нрзб) быть приятным, мечтающего, в сумасбродстве своем, о правах на сердце молодой девушки»;

«страсть моя, слепая и безумная, спокойна, жива и тиха, как ты, моя Сара»;

«как часто в двадцать лет краснел я от того, что делаю в пятьдесят!»;

«я люблю свое иступление, люблю свою низость»;

«воображая себя на коленях перед тобою, видя свои седины, я бешусь и мучаюсь; но сердце мое забывается, исчезает в неизъяснимом восторге, вспалившем его в ту минуту»;

«пускай смеются над моим иступлением; в оковах твоих презираю ругательства целого мира!»;

«когда я сравниваю свои поступки с твоими, то нахожу мудреца в молодой девушке и в старике ребенка»;

«тридцать лет разницы между нами давали мне чувствовать один только стыд мой и скрывали от меня твою опасность»;

«если бы ты была не столь добродетельна, то я без мысли мог сделаться обольстителем» [Жуковский, 1999-2019, т. 8, с. 405-409; оригинал: Rousseau, 1782, t. 7, pp. 188-198].

По мнению комментаторов Руссо, маловероятно, что эти письма были связаны с какой-то реальной влюбленностью старого философа. Скорее всего, они представляют собой литературное упражнение на тему воображаемой любви (возможно, ретроспективную беллетризацию страстного увлечения Софи) [Cranston, 1999, p. 29]. Эти письма были несомненно известны Вяземскому, но прямо они не связывались в его сознании с творческой биографией его друга

(оставшийся в рукописи перевод Жуковского едва ли мог быть известен мемуаристу).

Полагаю, что Вяземский контаминировал в своей записи тему безумной страсти «седовласого прелестника» в творчестве Руссо с историей о любви самого *шестидесятилетнего* писателя к юной Сесилии Говард (Howard) или Хобарт (Hobart). Эта история восходит к апокрифическому письму Руссо «К Сесилии», переведенному и напечатанному Жуковским в «Вестнике Европы» в 1808 году и публиковавшемся в собраниях его переводов 1811 и 1827 годов. В примечании к своему переводу Жуковский указал, что он сделан с ненапечатанной рукописи и высказал предположение, что эта последняя возлюбленная Руссо была той самой «миледи Говард, с которой Ж. Жак познакомился в старости и которой поручил судьбу Жюльетты, известной читателям Вестника»². «Надобно помнить, – подчеркивал Жуковский в своем примечании, – что это письмо писано шестидесятилетним стариком» [Вестник Европы, 1808, ч. 37, №4, с. 265].

Как позднее было установлено, настоящим автором этого произведения был не Руссо, а знаменитый авантюрист, враг Наполеона, агент русской и английских разведок граф Эмануэль Анри Луи Александр де Лонэ д'Антрег (Emmanuel Henri Louis Alexandre de Launay, comte d'Antraigues, 1753-1812) – автор романа в письмах “Henri et Cecile” [Duckworth, 1976, pp. 631-637]. Существует целая литература о том, кем была эта мифическая Сесилия Говард (Myladi Howard) или Хобарт (Hobart). Первое упоминание этой возлюбленной мы нашли в поставленной в 1793 году в Париже пьесе, восходящей, возможно, к мистификации д'Антрега (“Jean-Jacques Rousseau au Paraclet, comédie en prose & en trois actes”). Не входя в подробный анализ этого увлекательного сюжета, заметим, что под этим именем мистификатор, скорее всего, вывел свою любовницу и потом жену, известную оперную певицу Madame Saint-Huberty или Saint-Huberti (1756 – 1812), принявшую имя Cécile (Henri, кстати сказать, одно из имен самого графа). Если это так, то в марте 1770 года, которым д'Антрег датировал письмо Руссо к Сесилии, прототипу последней было всего 14 лет. Впрочем, согласно этому апокрифу, любовь шестидесятилетнего Руссо была «очищенной» от земных страстей, мучивших автора «Писем к Саре».

В самом деле, письмо Руссо к Сесилии, переведенное Жуковским, является апологией «целомудренной любви» пожилого энтузиаста чув-

² Отсылка к переводу повести Ф. Менцеля, напечатанному поэтом в «Вестнике» 1808 года.

ствительности, противопоставленной разврату убийственной философии эгоизма:

Как счастлив тот, кто может до самой смерти сохранить чувствительность юношеских лет! Я сохранил ее, Сесилия, и сим обязан романтическим своим мыслям. Ах! я знаю, слишком знаю: для развращенного сердца все роман, и в нашем развратном веке любовь роман, добродетель роман, героизм древнего времени маска, история римлян училище лжи, или скопище одних басней. Но что же выиграли люди, иссушив свое сердце и похитив у себя все то, что некогда возвышало их к небу? какая польза от сей убийственной философии, которая завела их в болота эгоизма? Сесилия! вместе с заблуждениями угасли добродетели!

Скажи мне – говорю не сердцу твоему, но рассудку, хочу знать не собственно твое, но общее мнение света – скажи мне, что почитают любовью в наше время? Они искали удовольствия, но отделив от него чистоту и непорочность, лишили его всех очарований, сделали презрительным и грубым. Мечты, прелестные чада воображения, исчезли; место их заступили желания, чада разврата – низкое удовольствие, раздражающее чувства, но мертвое и недействительное для сердца [Жуковский, 1999-2019, т. 10, с. 82-84].

Любовь Руссо имеет иную природу – она чиста и основана на единении душ любящих, разделенных возрастом:

Боже! каким блаженством я наслаждался близ тебя, Сесилия! Воспоминание о нем наполнит остаток моих дней! Так, мой друг! для всякой эпохи жизни есть счастье, и любовь старика воспламеняют не те награды, которые предоставлены цветущим юношеским летам [Жуковский, 1999-2019, т. 10, с. 86].

Сесилия изображается в письме как восторженная почитательница дара писателя:

О! как гордился я самим собою, когда Сесилия хвалила мои сочинения! Помнишь ли, когда я читал тебе Элоизу, когда ты мне сказала, указывая на сердце: Жан Жак! написанное тобою было здесь! Небо! с каким восхищением смотрел я тогда на эту книгу; я боготворил ее, чувствовал, что она несравненна; мне хотелось забыть, что я ее творец, чтобы оправдать

перед самым собою чрезмерность своего восторга! А портрет Софии, который читал я перед тобою на коленях! конечно ты не забыла об этом, Сесилия? [Жуковский, 1999-2019, т. 10, с. 86].

Заметим, что в отличие от сцены, представленной в записной книжке Вяземского, не юная возлюбленная сидит на коленях престарелого писателя, а влюбленный философ (вечный юноша) по-рыцарски стоит на коленях перед объектом своего почти религиозного чувства. На девятой странице письма Руссо признается адресатке, что старику свойственно искать утешения в «животворных, небесных идеях» любви и просит Сесилию объяснить ее молодому любовнику, что представляет собой настоящее чувство: «он пускай одушевляет их, пускай дает им бытие, не думает о том, как можно быть любимым или несчастным от любви; но любит тебя, забывает все личное, существует в одной Сесилии» [Жуковский, 1999-2019, т. 10, с. 86]. Это письмо, еще раз подчеркнем, является подделкой, но подделкой, свидетельствующей об общем восприятии «религии любви» Руссо в Европе конца XVIII – начала XIX веков. В версии «вечерней любви», кристаллизовавшейся в письме к Сесилии, Руссо выступает уже не как страстный «пятидесятилетний юноша», но как отец-наставник юной красавицы, своего рода состарившийся, прославившийся и (почти) успокоившийся Сен-Пре (то есть, по иронии судьбы, ровесник добродетельного мужа Юлии барона де Вольмара, который старше своей супруги как раз на тридцать лет и который, как стоит заметить в нашем контексте, имеет русское происхождение: бежал в Швейцарию после «недавней революции» [“la dernière revolution”] в России³).

Перевод Жуковского был хорошо известен русским читателям⁴. О его энтузиастическом восприятии свидетельствует, например, следующий отклик Федора Глинки в «Письмах русского офицера»: «Я помню прелестный летний вечер в Смоленске, когда среди неги природы и юных

³ “Ce qu’il faut vous apprendre encore, c’est qu’étant allé dans son pays pour mettre ordre a ses affaires, il s’est trouvé enveloppé dans la dernière révolution, qu’il ya perdu ses biens, qu’il n’a lui même échappé à l’exil en Sibérie que par un bonheur singulier, et qu’il revient avec le triste débris de sa fortune, sur la parole de son ami qui n’en manqua jamais à personne” («Вам надлежит еще узнать, что, отправившись на родину, дабы привести в порядок свои дела, он оказался участником недавнего переворота, потерял состояние и избежал изгнания в Сибирь лишь благодаря счастливому случаю») [Rousseau, 1817, t. 1/1, p. 248]. О возможном прототипе Вольмара см.: [Acher, 1980, pp. 366-383]. О русской теме в творчестве Жан-Жака см.: [Штрэнге, 1966, с. 345-357].

⁴ О восприятии Жуковским Руссо см., в частности, [Резанов 1916; Канунова 1984; Зорин, 1996; Зорин 2006]. образу Руссо в «Вестнике Европы» в период редакторства Жуковского посвящена отдельная работа [Айзикова, 2013, с. 53-70].

возвышенных ощущений мы читали вместе письмо Руссо к Сесилии. Ах! такие минуты похожи на сладкие сновидения, которые один только раз могут присниться в жизни» (письмо к А.А. Ивановскому) [Глинка, 1990, с. 481]. Отголоски представленной в апокрифическом письме Руссо к Сесилии философии идеальной любви слышатся в творчестве самого Жуковского на протяжении 1810-1820-х годов.

2. Исповедь Гульбранда

Мы полагаем, что аллюзия Вяземского на ранний перевод Жуковского призвана показать пророческий характер творчества его добродетельного чувствительного друга, оказавшегося в своей «романической» биографии вторым Руссо, только «очищенным» (можно даже сказать, что дважды очищенным по отношению к автору «Писем к Саре»). В целом же воображаемая Вяземским «сентиментальная» картина девочки на коленях восходит к известному исповедальному письму Жуковского к родне, в котором поэт вспоминал о первой встрече со своей суженой Элизабет фон Рейтерн («тогда 13-ти летний ребенок, кинулась мне на шею и прильнула ко мне с необыкновенной нежностью, это меня тогда поразило, но, разумеется, никакого следа на душе не оставило») [Жуковский, 1859, с. 21].

Как мы писали в другой работе, воспоминания Жуковского о встрече с полюбившей его девочкой-подростком нашли отражение в начатой им в Швейцарии лирической рыцарской сказке о юной ундине – произведении, представляющем собой образец типичного для самого девственного из русских поэтов сублимированного эротизма: «... она ж, приподнявшись, // Руки вокруг шеи его обвила...»; «...Ундина прижалась к рыцарю»; «Около вечера с нежностью робкой Ундина, взявши Гульбранда // За руку, тихо его повлекла за собою»; «Вскрикнула, вспрыгнула, кинулась к милому в руки Ундина, // Грудью прильнула ко груди его и на ней онемела» [Виницкий, 2011, с. 389-441].

Письмо Жуковского (1783 г. р.) о браке с Рейтерн (1821-1856), распространявшееся в 1840-е годы в списках и впервые опубликованное в 1859 году в «Русской беседе», является едва ли не единственной в русской литературе романтической апологией неравного брака (разумеется, в реальной практике таких союзов в первой половине XIX века было множество, но ни один из них не удостоился религиозно-лирического манифеста). Жуковский, создавший до того целый миф из своей целомудренной любви к юной племяннице Маше Протасовой, в этом письме не только оправдывается перед своими близкими за «измену» прошлому,

но и настаивает на том, что его союз с юной немкой был устроен по воле Промысла и по искреннему чувству его избранницы, к которой он питает не романтическую страсть (оглядка на “Trilogie der Leidenschaft” Гете, вызванную «последней» любовью поэта к юной Ульрике фон Левенцов, или, не дай Бог, пушкинского Мазепу?), но тихое ясное чувство, граничащее с небесной религией⁵. Ангельский образ «непорочной» Елизаветы (примечательно, что Жуковский в своем дневнике умиленно подчеркивал, что его невеста ничего не знает о физической стороне любви) вызывает у поэта воспоминание о том впечатлении, которое некогда произвела на него Мадонна Рафаэля:

Г. Майдель. Гульбранд и Ундина (1837)

Я любовался ею, как образом Рафаэлевой Мадонны, от которой после нескольких минут счастья удаляешься с тихим воспоминанием и... Однако нет; в тогдaшнем чувстве, с которым смотрел я на это ангельское лицо не было того совершенного покоя, с каким смотришь на тихую Мадонну; оно было соединено с грустью; мне было жаль себя, смотря на нее и чувствуя, что молодость сердца была еще вся со мною, я горевал, что молодость жизни миновалась и что мне надобно проходить равнодушно мимо того, чему бы душа могла предаться со всем неистощенным жаром своим и что однако навсегда должно ей остаться чуждым [Жуковский, 1859, с. 24].

⁵ Немедленно приходящая на ум ария Гремина из «Евгения Онегина» Чайковского никак не вписывается в апологию поздней любви Жуковского, основанную на принципе глубокой взаимности, свидетельствующей о тайном действии благого промысла, соединившего столь разных по возрасту влюбленных.

Тема тихой Мадонны преломляется и в посвященном невесте стихотворении Жуковского «О, молю тебя, Создатель» (перевод “Die Stumme Liebe” Н. Ленау).

Показательно, что Жуковский подчеркивает в письме к родным, что мгновенное согласие Елизаветы выйти за него замуж было не только абсолютно добровольным (мать и отец не вмешивались), но явилось следствием ее необъяснимой, чуть ли не с первого взгляда, любви к нему, о которой она рассказала матери. Женитьба на ней – награда Провидения за пройденную жизнь, причем награда, явившаяся тогда, когда он уже отказался от каких-либо надежд на будущее, смирился перед фактом одинокой старости. Этот брак он понимает как возвращение к самому себе после долгих лет служения другим, заключительную главу его «вечереющей» жизни, подготовку к жизни вечной, в которой все прекрасное, «родное», утраченное им в прошлой, земной жизни, сольется в единое целое. Этот провиденциальный оптимизм с примесью патерналистского дидактизма (юная Елизавета – его духовная ученица) и рационалистического регламентаторства мужа Юлии барона де Вольмара, кстати сказать, отличает концепцию «поздней любви» Жуковского как от гетевского трагического индивидуализма, бросающего вызов смерти (“Trilogie der Leidenschaft”), так и от «блаженной безнадежности» «Последней любви» Тютчева (1851-1854).

Вернемся к дневниковой записи Вяземского. Как мы видели, она представляет собой своеобразное обобщение мифа о «вечерней любви» Жан-Жака. Замечательно, что этот лирический сюжет русский путешественник по Швейцарии 62-летний князь-поэт немедленно проецирует и на свою собственную литературную биографию: через несколько дней он пишет стихотворение «Моя вечерняя любовь» (точный адресат его неизвестен⁶), которое впоследствии публикует с «вклеивающим» в пространство, связанное с памятью о Руссо и Жуковским, указанием на место создания – «14 января 1855 г., *Веве*»:

Моя вечерняя звезда,
Моя последняя любовь!
На вечереющий мой день
Отрады луч пролей ты вновь!

⁶ В научной литературе указывается, что оно было внесено в альбом герцогини Терезы Ольденбургской, но едва ли она была адресатом этого стихотворения. Возможно, это стихотворение представляет собой вариацию на мотивы Жуковского, навеянную временем и местом создания. По мнению Татьяны Степанищевой, стихотворение варьирует мотивы «Последней любви» Тютчева.

Порою неводержных лет
Мы любим пыл и блеск страстей,
Но полурадость, полусвет
Нам на закате дня милей [Вяземский 1986, с. 335].

Впрочем, эта вариация давно женатого Вяземского на лирическую тему Жуковского исключает важнейший компонент последней: в религиозно-педагогической (по сути дела, буржуазно-лютеранской и пиелистской) концепции брака, сформулированной шестидесятилетним поэтом в 1840-е годы, «вечерняя любовь», дарованная Провидением и скрепленная священными узами, приближает супругов к небесам. Иначе говоря, по окончании земного пути вечный странник Агасфер вновь предстанет счастливым юношей Вадимом, «сияющим» со своей юной суженой, по образному выражению Степана Шевырева, на вечерних небесах «в хоре пробужденных дев» [Шевырев 1853, с. 58].

Не будет преувеличением сказать, что в русской культуре 1850-х годов канонизированная Жуковским возвышенная тема поздней любви к молодой женщине представляет собой своеобразный символ увядающего идеалистического литературного направления, укорененного в «религии любви» Жан-Жака, – последний луч романтической зари:

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство, и безнадежность.

Ф.И. Тютчев. Последняя любовь (между 1851 и 1854)

[Тютчев, 2003, с. 59].

3. Исповедь Свидригайлова

В «реалистические» 1860-е годы, увлеченно обсуждавшие различные теории брака и пола, связанный с Жуковским романтический миф о невинной «вечерней любви» седовласого жениха к юному созданию подвергается радикальному пересмотру с социально-этической точки зрения (идеальная любовь «по Жуковскому» высмеивалась еще А.И. Герценом в сцене совместного чтения учителем Круциферским и его юной ученицей любовной баллады «Алина и Альсим»). Неравные браки, «продажа» родителями малолетних дочерей престарелым мужам воспринимается в публицистике и искусстве этой эпохи как проявление аморальных капиталистических отношений (драма Александра Островского «Бедность

не порок», знаменитая картина Василия Пукирева 1862 года)⁷. Историко-юридическим «симптомом» этого перелома в отношении к неравному браку стал вышедший за год до освобождения крестьян указ Священного Синода от 20 февраля 1860 года, согласно которому «большое различие в возрасте жениха и невесты <...> является препятствием к браку» и жених старше шестидесяти лет должен получить разрешение на брак архиерея, лицам старше восьмидесяти лет вообще запрещалось жениться, а священникам надлежало объяснять всем желающим жениться в пожилом возрасте «неудобства» этого решения [Булгаков, 1913, с. 1172-1173; Кирсанова, 2002, с. 163]⁸.

*Василий Пукирев.
Неравный брак (1862)*

Своеобразное литературное преломление нашла в этот период и сентиментальная тема юной невесты в объятиях своего престарелого жени-

⁷ Разумеется, в литературе и «брачных практиках» середины и второй половины XIX века можно найти и «прожуковские» концепции, но последние в этот период воспринимались, скорее, как архаические или провокационные (например, руссоистское «Семейное счастье» Л.Н. Толстого). Здесь показателен пример «Обыкновенной истории» Гончарова: история «старого» разумного мужа, наставляющего молодую жену, в итоге оказывается историей о постепенном угасании последней и вине первого.

⁸ С.Г. Булгаков, почему-то отнеся этот указ к 1861 году, отмечает, что «вменено священникам в обязанность, чтобы они, если к ним будут обращаться лица значительно неравных лет с просьбой повенчать их, представляли этим лицам все неудобства, какие могут произойти впоследствии от разности лет; но если они и после того не отменяют своего желания вступить в брак, то венчать их беспрепятственно. Если оба лица или которое лицо одно из них вступили в брак, при недостижении церковного совершеннолетия или имея более 80 лет от роду, то брак считается незаконным и недействительным» [Булгаков, 1913, с. 1172-1173].

ха. Так, представленные в романтической апологии «вечерней любви» Жуковского образы и мотивы девочки-подростка, бросающейся на шею своему намеченному Провидением супругу, ее родителей, устраивающих этот брак, сравнение невинной красавицы с Рафаэлевой Сикстинской Мадонной, подарка жениха (Жуковский при сватовстве подарил Элизабет маленькие часы и она тотчас «кинулась» к нему на шею [Жуковский, 1859, с. 27]) и наконец страстного и спонтанного признания невинного создания в любви к своему старому воздыхателю, – все эти мотивы находят свое «негативное» отражение в известном монологе старого развратника Свидригайлова о том, как он (якобы) сватался к девочке:

С тех пор как приеду, так сейчас ее к себе на колени, да так и не спускаю... Ну, вспыхивает, как заря, а я целую поминутно; мамаша-то, разумеется, внушает, что это, дескать, твой муж и что так требуется, одним словом, малина! И это состояние теперешнее, жениховое, право, может быть, лучше и мужнего. Тут что называется *la nature et la verite*. Ха! Ха! Я с нею раза два переговаривал – куда не глупа девчонка; иной раз так украдкой на меня взглянет, – ажно прожжет. А знаете, у ней личико вроде Рафаэлевой Мадонны. Ведь у Сикстинской мадонны лицо фантастическое, лицо скорбной юродивой, вам это не бросилось в глаза? Ну, так в этом роде. Только что нас благословили, я на другой день на полторы тысячи и привез: бриллиантовый убор один, жемчужный другой да серебряную дамскую туалетную шкатулку – вот какой величины, со всякими разностями, так даже у ней, у мадонны-то, личико зарделось. Посадил я ее вчера на колени, да, должно быть, уж очень бесцеремонно, – вся вспыхнула и слезинки брызнули, да выдать-то не хочет, сама вся горит. Ушли все на минуту, мы с нею как есть одни остались, вдруг бросается мне на шею (сама в первый раз), обнимает меня обеими ручонками, целует и клянется, что она будет мне послушною, верною и доброю женой, что она сделает меня счастливым, что она употребит всю жизнь, всякую минуту своей жизни, всем, всем пожертвует, а за все это желает иметь от меня только одно мое уважение и более мне, говорит, «ничего, ничего не надо, никаких подарков!». Согласитесь сами, что выслушать подобное признание наедине от такого шестнадцатилетнего ангельчика с краскою девичьего стыда и со слезинками энтузиазма в глазах, – согласитесь сами, оно довольно заманчиво. Ведь заманчиво? Ведь стоит чего-нибудь, а? Ну, ведь стоит? Ну... ну

слушайте... ну, поедemте к моей невесте... только не сейчас! [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 369]

Программное письмо Жуковского о браке, и по своему содержанию, и по тону диссонировавшее в конце 1850-х годов с общественными настроениями, было Достоевскому известно (этот том «Русской Беседы» он читал⁹). Показательно, что в другом разговоре с Раскольниковым Свидригайлов перифразирует еще одно автобиографическое сочинение Жуковского – статью «Нечто о привидениях», также напечатанную в «Русской Беседе». Наконец Достоевскому была известна, как мы предполагаем, и скандальная статья Жуковского «О смертной казни», опубликованная в том же журнале после смерти поэта.

Наша гипотеза заключается в том, что в идеологическом плане «Преступления и наказания» Достоевский с помощью своего циничного героя пародирует апологию провиденциального брака, предложенную Жуковским в исповедальном письме-манифесте, так же, как, если верить Тынянову, он высмеивал идеалистический морализм Гоголя в образе Фомы Опискина. Такая пародия не только органична для занимающей центральное место в творчестве зрелого Достоевского критике романтического себялюбия, но и для общего – весьма жесткого – переосмысления руссоистского романтизма поэта-придворного в русской литературе 1860-70-х годов (Чернышевский, Писарев, Л. Н. Толстой, Н.С. Лесков), инициированного публикациями его поздних, религиозно-консервативных сочинений.

4. Седина в бороду

В пользу этой версии говорит спрятанная в монологе Свидригайлова тема, на протяжении многих лет привлекавшая к себе внимание Достоевского: слова о природе и добродетели – это незаконченная цитата знаменитой надписи на могиле Руссо *“l’homme de la nature et de la vérité”* (в свою очередь, восходящей к началу его «Исповеди»¹⁰), которую

⁹ Эпизод из опубликованной в 1887 году «Старой записной книжки» Вяземского, разумеется, не мог быть известен Достоевскому.

¹⁰ “Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, se sera moi” («Я хочу показать своим собратьям человека в его истинной природе – и этим человеком буду я»). По мнению комментаторов, в своей критике Руссо Достоевский «следовал примеру Гейне», подвергнутому сомнению искренность французского автора в десятой части второго тома французского издания «О Германии» (1853–1854) [Достоевский, 1972–1990, т. 5, с. 373].

Достоевский упоминает в «Зимних заметках о летних впечатлениях»¹¹. У Достоевского руссоистский концепт “l’homme de la nature et de la vérité” неизменно ассоциируется с ложью, безнравственностью, претенциозностью, самодовольной глупостью, корыстью и западной (прежде всего французской) буржуазностью¹².

Эта «формула Руссо», как известно, задает тему и ернический тон рассуждений подпольного человека об обиженной мыши, желающей отомстить миру за свое положение:

Злости-то в ней, может, еще и больше накопится, чем в l’homme de la nature et de la vérité. Гадкое, низкое желанье воздать обидчику тем же злом, может, еще и гаже скребется в ней, чем в l’homme de la nature et de la vérité, потому что l’homme de la nature et de la vérité, по своей врожденной глупости, считает свое мщенье просто-запросто справедливостью; а мышь, вследствие усиленного сознания, отрицает тут справедливость. Доходит наконец до самого дела, до самого акта отмщения. Несчастливая мышь кроме одной первоначальной гадости успела уже нагородить кругом себя, в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей; к одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается *какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений и, наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей, предстоящих торжественно кругом в виде судей и диктаторов и хохочущих над нею во всю здоровую глотку.*

<...> вот в этом холодном, омерзительном полутотчании, полувере, в этом сознательном погребении самого себя заживо с горя, в подполье на сорок лет, в этой усиленно созданной и все-таки отчасти

¹¹ «“Ci-gît Jean Jacques Rousseau, – продолжал он, подходя к другой гробнице, – Jean Jacques, l’homme de la nature et de la vérité!” Мне стало вдруг смешно. Высоким слогом всё можно ополнить. Да и видно было, что бедный старик, говоря об nature и vérité, решительно не понимал, о чем идет речь. “Странно! – сказал я ему. – Из этих двух великих людей один всю жизнь называл другого луноном и дурным человеком, а другой называл первого просто дураком. И вот они сошлись здесь почти рядом”» [Достоевский, 1972–1990, т. 5, с. 89].

¹² Ср. в «Зимних заметках»: «Вообще парижанин за городом считает немедленную свою обязанностью стать тотчас же развязнее, игривее, даже молодцеватее, одним словом, смотреть более естественным, более близким к la nature человеком. L’homme de la nature et de la vérité! Уж не с Жан-Жака ли и проявилось в буржуа это усиленное почтение к la nature? Впрочем, обе эти потребности: voir la mer и se rouler dans l’herbe – парижанин позволяет себе большею частью только тогда, когда уже накопит себе состояние, одним словом, когда сам начинает уважать себя, гордиться собою и смотреть на себя как на человека» [Достоевский, 1972–1990, т. 5, с. 94].

сомнительной безвыходности своего положения, *во всем этом яде неудовлетворенных желаний, вошедших внутрь, во всей этой лихорадке колебаний, принятых навеки решений и через минуту опять наступающих раскаяний – и заключается сок того странного наслаждения, о котором я говорил.* Оно до того тонкое, до того иногда не поддающееся сознанию, что чуть-чуть ограниченные люди или даже просто люди с крепкими нервами не поймут в нем ни единой черты [Достоевский, 1972–1990, т. 5, с. 104–106].

Как справедливо заметил А.К. Жолковский, в «Записках из подполья» «налицо» представлен «весь комплекс полемической фиксации Достоевского на “Исповеди”» – «экзгибиционистская» природа повествования, преобладание «литературных» задач над моральными и истинностными, начинающийся с Руссо культ «детства», «связанный с “непосредственностью” и критикой развращающей среды» [Жолковский, 2006, с. 96]. Следует добавить, что эти темы получают дальнейшую разработку в приведенной выше педофильской «исповеди» Свидригайлова, дразнящего убийцу-шиллерянца Раскольникова. Программная автохарактеристика Руссо («итоговая» надпись на могиле) превращается в устах Свидригайлова в описание состояния сладострастного жениха, держащего на коленях невинную девочку, по сути дела отданную ему на заклание родителями (в «исповеди» Жуковского отец Елизаветы говорит жениху, от которого всецело зависит его материальное благосостояние: «[И]щи: если она сама тебе отдастся, то я наперед на все согласен» [Жуковский, 1859, с. 25]). Совершенно очевидно, что перед нами очередная атака писателя на неискренность и тайную развращенность «естественного человека», на этот раз спроецированная в сферу эротического «подполья» мстящей исковерканной личности, – часть восходящей к «Запискам» фронтальной критики чувствительного (чувственного) романтизма (от князя Валковского до Федора Карамазова, который был «зол и сентиментален»). В исповеди Свидригайлова, предшествующей его кошмарному видению пятилетней «продажной камелии», мещанская идиллия с девочкой на коленях (традиционный образ *pater familias* с внучкой или ребенок на коленях св. Николая – Санты Клауса) трансформируется в кричащую «жанровую» иллюстрацию, изображающую естественного человека в его истинном свете. Умиленно-сентиментальная «сценка» превращается в откровенно эротическую «картинку», «заимствованную» из низовой, вульгарной и непристойной традиции.

Aimé Pez. Familienidylle (1839)

А. Орловский. В трактире.

Здесь нужно заметить, что, хотя сам Руссо, разумеется, педофилом не был, педофилический эпизод, на который вполне мог бы обратить внимание Достоевский, присутствует в «Исповеди» (кн. VII), причем в той ее части, где, по словам откровенного повествователя, обнажается вся человеческая природа автора (*“Qui que vous soyez, qui voulez connaître un homme, osez lire les deux ou trois pages qui suivent; vous allez connaître à plein Jean-Jacques Rousseau”*; «желающие узнать человека, осмейтесь прочесть следующие две-три страницы: вы до конца узнаете Жан-Жака Руссо» [Rousseau, 1817, t. 6, p. 242; Руссо, 1949, с. 299; Damrosch, 2005, p. 179]). Руссо после постыдной для него истории о куртизанке Джульетте с деформированным соском рассказывает о том, как нанял в Венеции на двоих со своим другом Каррио маленькую Анзолетту – девочку лет одиннадцати-двенадцати, «которую недостойная мать хотела продать». «Сердце мое, – признается добрый Руссо, – сжалось при виде этого ребенка; она была белокурая и кроткая, как ягненок» [Руссо, 1949, с. 301].

Ж.-Ж. Руссо и его друг Каррио с Анзолеттой (1817)

Друзья заплатили матери и позаботились о содержании девочки. Так как у нее был хороший голос, они купили ей спинет и наняли учителя пения. «Надо было ждать, чтобы она созрела, – разъясняет Руссо, – это значило сеять для того, чтобы долго дожидаться жатвы». По вечерам они ходили беседовать с Анзолейтой и совсем невинно играли с девочкой: «Мы развлекались, быть может, ничуть не хуже, чем если бы обладали ею. Как справедливо, что больше всего привязывает нас к женщинам не столько разврат, сколько особая приятность жить возле них!»

Руссо признается, что незаметно его сердце привязалось к девочке, «но отеческой привязанностью (*“un attachment paternel”*), которой чувственность имела так мало места, что, по мере того как привязанность росла», ему «становилось все менее возможным примешивать к ней вождение», ибо он предвидел, что сближение с этой девушкой, когда она достигнет зрелости, было бы для него «ужасным, как самое гнусное кровосмешение». Руссо с другом думали о том, что в будущем станут покровителями маленькой Анзолейты и готовили себе «наслажденья не менее упоительные, чем те, какие сначала имели в виду»: «как бы красива ни стала впоследствии эта бедная девочка, мы не только не стали бы ее развратителями, но были бы ее защитниками» [Руссо, 1949, с. 301-302].

Такая сублимация разврата и педофилии в педагогику и благотворительность симптоматична для эстетизированной этики Руссо. Его *“l’homme de la nature et de la vérité”* был возвышенно сентиментален и расчетливо добр в своих человеколюбивых намерениях. Качества, явно отвратительные, с точки зрения Достоевского, passionately воспринимавшего «Исповедь» едва ли не как разросшуюся на несколько сот страниц игру в циничную откровенность «ужасно желающего обнажиться» на публике эгоиста. Под таким углом зрения образ «девочки на коленях» Свидригайлова выступает как пародический символ моральной деградации позднего, состарившегося романтизма, воплощенного в жизни и творчестве Жуковского (ум. в 1852 г.).

5. Исповедь Гумберта

Замечательно, что в середине XX века созданный Достоевским образ демона-совратителя с девочкой на коленях (как известно, тема надругательства над ребенком – одна из важнейших и самых болезненных в творчестве Достоевского) найдет свое преломление в шокирующей эротической сцене набоковского романа, в которой еще один исповедующийся педофил, подобно Свидригайлову, держит у себя на коленях де-

вочку-нимфу (“Then, with perfect simplicity, the impudent child extended her legs across my lap” [Nabokov, 1958, p. 60]). Гумберт приглашает «ученых читателей» принять мысленное участие в этой сцене, которую цинически называет «пропитанным целомудрием» «мускусно-сладким эпизодом», где ему удалось похитить «мед оргазма, не совавтив малолетней» [Набоков, 1991, с. 77].

Сцена с яблоком из фильма «Лолита» (1997)

Этот исключительно важный для идеологии романа «мускусно-сладкий эпизод» не просто перерабатывает тему «эротической картинки» Свидригайлова, но указывает на генетические истоки центральной для романтического сознания идеи «естественной» любви к ангельскому созданию, сконцентрированной в русской истории литературы в том самом «романтическом эпизоде» Жуковского, о котором писал, отсылая к «Исповеди» и апокрифическому письму Руссо, некогда переведенному его другом, Вяземский. Замечательно, что сам набоковский Гумберт (в итоге ставший приемным отцом и любовником девочки) прекрасно осознает свою связь с руссоистской традицией и прямо отождествляет себя с Жан-Жаком как автором педагогического трактата «Эмил, или о воспитании» и эксгибиционистской «Исповеди»:

Restraint and reverence were still my motto – even if that “purity” (incidentally, thoroughly debunked by modern science) had been slightly damaged through some juvenile erotic experience, no doubt homosexual, at that accursed camp of hers. Of course, in my old-fashioned, old-world way, I, *Jean-Jacques Humbert*, had taken for granted, when I first met her, that she was as unravished as the stereotypical notion of “normal child” had been since the lamented end of the Ancient World b.c. and its fascinating practices [Nabokov, 1958, p. 126].

«Сдержанность и благоговение» – вот был мой всегдашний девиз. Я намерен был придерживаться его, даже если бы эту чистоту (между прочим, основательно развенчанную современной наукой) слегка подпортило какое-нибудь ребячье эротическое переживание (по всей вероятности, гомосексуального порядка) в этом ее мерзостном лагере. Конечно, в силу старомодных европейских навыков я, *Жан-Жак Гумберт*, принял на веру, когда впервые ее увидел, два с половиной месяца тому назад, что она так непорочна, как полагается по шаблону быть «нормальному ребенку» с самой той поры, когда кончился незабвенный античный мир с его увлекательными нравами [Набоков, 1991, с. 143].

Иными словами, Набоков предлагает читателю с помощью исповеди своего антигероя (сама форма повествования восходит к автобиографическому кредо Руссо) своеобразный историко-культурный экскурс в литературное и идеологическое прошлое важной для его романа (равно как и для нелюбимого им «Преступления и наказания») темы – критика «человека природы и правды», скрывающего свою истинную животную натуру под маской старомодных литературно-идеологических конвенций.

Мы не можем фактически доказать, помнил ли автор «Лолиты» об апологии любви к девочке-невесте, представленной в биографическом мифе Жуковского, но такая творческая реминисценция вполне возможна: «Старая записная книжка» Вяземского была Набокову знакома; исследователи, начиная с А.А. Долинина, указывают на связь Лолиты с образом ундины Жуковского [Набоков, 1991, с. 374, 384]¹³; как известно, писатель весьма критически относился к личности поэта как певца смертной казни. В любом случае общий «исторический» диагноз представленному в рома-

¹³ В романе Гумберт сравнивает Шарлоту с «весьма посредственной ундиной» и даже (отличная пародия романтической темы) «неповоротливым тюленем». Использованию мотивов «Ундины» Жуковского в «Лолите» посвящена работа [Анисимова, 2015].

не феномену можно выразить так: поскреби романтического Гульбранда и найдешь циничного Жан-Жака Гумберта, видящего в невинной туманной «Ундиночке» испорченную «Лолиточку», в христианской скорбной «Долорес» «продажную камелию», а в сладкой сентиментально-буржуазной аркадии гадкую мечту Аркадия Ивановича Свидригайлова¹⁴.

Дементий Шмаринов. Аркадий Иванович Свидригайлов

¹⁴ Кстати сказать, если уж позволить себе фонетические игры с именами, то нельзя не отметить любопытную «гумбертовскую» рифму реконструированного нами сюжета. Прототипом и адресатом выдуманного французским фальсификатором письма о последней любви Руссо, положенного Жуковским в основу идеалистической традиции изображения рыцарской любви к юной ундине, как мы предположили выше, была певица и авантюристка госпожа Huberti (Hobart).

Заключение

В истории западной культуры руссоистская тема любви к юной невесте несомненно является идеологическим конструктом. Отношение к этой теме того или иного автора оказывается важным индикатором его религиозных, этических и эстетических взглядов, характерных для представляемого им культурного (социально-культурного) направления и в целом отражающих страхи, идеалы и «градус патриархальности» общества.

Если позволить себе отвлечься от сугубо исторических задач исследования, то можно сказать, что рассмотренный нами *пул кейсов* свидетельствует не только о влиятельности и провокативности руссоистских идей в русской литературе. С точки зрения современных идеологов, яркий эмотивный символ, анализируемый в этой работе, вполне может быть воспринят как «иконический образ», актуальный для дискуссии о *допустимых в данных иерархических рамках границах чувства*, часто включающей призывы к *четкой и выверенной моральной, юридической и общественной регламентации комплексных отношений между телами разновозрастных (и разностатусных) участников романтической коллизии*. Ирония заключается в том, что идея такой регламентации в общих прототипических чертах была представлена еще в утопическом проекте очищенной, прозрачной, справедливой и нравственной жизни на берегу Женевского озера в «Новой Элоизе» того же Жан-Жака (Кларан «старика» Вольмара) и проектах его многочисленных идеологических наследников от Шарля Фурье до Арона Залкинда. Но это уже совершенно иная и, наверное, еще более интересная, история.

Список литературы

1. Айзикова, 2013 – Айзикова И.А. Образ Ж. Ж. Руссо на страницах «Вестника Европы» 1807–1811 гг. (период редакторства В. А. Жуковского) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2013. № 4 (24). С. 53-70.
2. Анисимова, 2015 – Анисимова Е. Е. Наследие В.А. Жуковского в художественном языке романов В. Набокова («Приглашение на казнь», «Лолита», «Пнин») // Сибирский филологический журнал. 2015. № 3. С. 153-160.
3. Булгаков, 1913 – Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. Киев: тип. Киево-Печерской Успенской Лавры. 1913. 1798 с.
4. Вестник Европы, 1808 – Письмо Ж.-Ж. Руссо [к Сесилии] / [Пер. В.А. Жуковского] // Вестник Европы. 1808. Ч. 37. № 4. С. 265-276.

5. Веницкий, 2011 – *Веницкий И.Ю.* «Немая любовь» Жуковского // Пушкинские чтения в Тарту 5: Пушкинская эпоха и русский литературный канон: в 2 ч. Ч. 2. Тарту. 2011. С. 389-441.
6. Вяземский 1986 – *Вяземский П.А.* Стихотворения. / Вступ. ст. Л.Я. Гинзбург; сост., подгот. текста и примеч. К.А. Кумпан. Л.: Советский писатель. 1986. 506 с.
7. Вяземский, 2003 – *Вяземский П.А.* Старая записная книжка: 1813–1877. М.: Захаров. 2003. 959 с.
8. Гинзбург, 1977 – *Гинзбург Л.* О психологической прозе. Ленинград: Художественная литература. 1977. 449 с.
9. Глинка, 1990 – *Глинка Ф.Н.* Письма к другу. М.: Современник. 1990. 559 с.
10. Достоевский, 1972–1990 – *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука. 1972–1990.
11. Жолковский, 2006 – *Жолковский А.К.* Полтора рассказа Бабеля: «Гюи де Мопассан» и «Справка / Гонорар». М.: Комкнига 2006. 288 с.
12. Жуковский, 1859 – *Жуковский В.А.* Письмо о браке его с девицею Фон-Рейтерн, писанное в Дюссельдорфе, с 10 Августа по 5 Сентября 1840 года // Русская Беседа. 1859. Т. 4. Кн. 15. С. 17-42.
13. Жуковский, 1999 – 2019 – *Жуковский В.А.* Полное собрание сочинений и писем: В двадцати томах. М.: Языки славянской культуры. 1999 – 2019.
14. Зорин, 1996 – *Зорин А.Л.* Ж.-Ж. Руссо и национальная утопия «старших» архаистов, «Новое литературное обозрение». 1996, № 20. С. 56-63.
15. Зорин, 2016 – *Зорин А.Л.* Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века. М: НЛО. 2016. 568 с.
16. Канунова, 1984 – *Канунова Ф.З.* Творчество Ж.-Ж. Руссо в восприятии Жуковского // Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Томск: ТГУ, 1984. Ч. 2. С. 229-236.
17. Кирсанова, 2002 – *Кирсанова Р.М.* Русский костюм и быт XVIII–XIX веков. М.: Слово. 2002. 224 с.
18. Лотман, 1969 – *Лотман Ю.М.* Руссо и русская культура XVIII – начала XIX в. // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М. 1969. С. 555-604.
19. Набоков, 1991 – *Набоков В.* Лолита. М.: Художественная литература. 1991. 317 с.
20. Резанов, 1916 – *Резанов В.И.* Из разысканий о сочинениях В.А. Жуковского. Вып. 2. Пг. СПб.: Сенат. тип. 1916. 620 с.
21. Руссо, 1949 – *Руссо Ж.-Ж.* Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя. / Пер. с фр. М. Розанова и Д. Горбова. М.: Художественная литература. 1949. 708 с.
22. Тимирязев, 1901 – *Тимирязев В.* Жан-Жак Руссо, как писатель, мыслитель и человек. Критико-биографический очерк // Руссо Ж.-Ж. Исповедь. / Пер. с франц. под ред. С.С. Трубачева. СПб. 1901.
23. Тютчев, 2003 – *Тютчев Ф.И.* Полное собрание сочинений и писем в шести томах. Т. 2. М.: Издательский центр «Классика». 2003.
24. Шевырев, 1853 – *Шевырев С.* О значении Жуковского в русской жизни и поэзии. М.: Университетская типография, 1853. 83 с.

25. Штранге, 1966 – *Штранге М. М.* Жан-Жак Руссо и его русские современники // Международные связи России в XVII–XVIII вв. М. 1966. С. 345-357.
26. Acher, 1980 – *Acher, William.* Cosmopolites de M. de Wolmar // *Revue d'Histoire littéraire de la France*, 80e Année, No. 3 (May - Jun., 1980), pp. 366-383.
27. Cranston, 1999 – *Cranston, Maurice.* The Solitary Self: Jean-Jacques Rousseau in Exile and Adversity. Chicago: University of Chicago Press. 1999. 267 p.
28. Damrosch, 2005 – *Damrosch Leo.* Jean-Jacques Rousseau: Restless Genius. Boston and New York: Houghton Mifflin Company. 2005. 566 p.
29. Duckworth, 1976 – *Duckworth, Colin.* D'Antraigues and the Quest for Happiness: Nostalgia and Commitment // *Studies on Voltaire and the Eighteenth Century*, vols. 151-155. 1976.
30. Eigeldinger, 2009 – *Eigeldinger Frédéric S.* Études et documents sur les 'minora' de Jean-Jacques Rousseau. (Les Dix-huitièmes Siècles, 137). Paris: Honoré Champion/ 2009. 334 p.
31. Nabokov, 1958 – *Nabokov Vladimir.* Lolita. New York: Putnam, 1958. 319 p.
32. Rousseau, 1782 – *Lettres à Sara* // *Rousseau J. J.* Collection complètes. Geneve/ 1782. V. 7. Pp. 188-198.
33. Rousseau, 1817 – *Rousseau, J. J.* Oeuvres: 8 vol. Paris: Chez A. Belin, Imprimeur-Librairie. 1817.

References

1. Aizikova I.A. *Obraz Zh. Zh. Russo na stranitsakh "Vestnika Evropy" 1807–1811 gg.* (period redaktorstva V. A. Zhukovskogo) [J.-J. Rousseau in "The Messenger of Europe," 1807-1811, under V.A. Zhukovsky's Editorship]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya* [Bulletin of Tomsk State University. Philology], 2013, No. 4 (24), pp. 53-70. (In Russ.)
2. Anisimova, E.E. *Nasledie V.A. Zhukovskogo v khudozhestvennom iazyke romanov V. Nabokova* ("Priglasenie na kazn'", "Lolita", "Pnin") [V.A. Zhukovsky's Legacy in Vladimir Nabokov's Novels "Invitation to the Beheading," "Lolita," and "Pnin"]. *Sibirskii filologicheskii zhurnal* [Siberian Philological Journal], 2015, No. 3, pp. 153-160. (In Russ.)
3. Bulgakov, S.V. *Nastol'naia kniga dlia sviashchenno-tserkovno-sluzhitelei* [Reference Book for Church Ministers]. Kiev, tip. Kievo-Pecherskoi Uspenskoii Lavry, 1913. 1798 p. (In Russ.)
4. *Pis'mo Zh.-Zh. Russo [K Sesilii]* [Letter by J.-J. Rosseau (To Cecile)], translated by V.A. Zhukovsky. *Vestnik Evropy* [European Bulletin], 1808, part 37, No. 4. Pp. 265-276. (In Russ.)
5. Vinitskii I.Iu. "Nemaia liubov" Zhukovskogo [Zhukovsky's Mute Love]. *Pushkinskie chteniia v Tartu: Pushkinskaia epokha i russkii literaturnyi kanon: v 2 ch.* [Pushkin Readings in Tartu: Pushkin's Era and the Canon of Russian Literature: in Two Parts], 2011, part 2, pp. 389-441. (In Russ.)
6. Viazemskii P.A. *Stikhotvoreniia* [Poems]. Leningrad, Sovetskii pisatel' Publ., 1986. 506 p. (In Russ.)
7. Viazemskii P.A. *Staraia zapisnaia knizhka: 1813-1877* [The Old Notebook: 1813-1877]. Moscow, Zakharov Publ., 2003. 959 p. (In Russ.)

8. Ginzburg L. *O psikhologicheskoi proze* [On Psychological Prose]. Leningrad, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1977. 449 p. (In Russ.)
9. Glinka F.N. *Pis'ma k drugu* [Letters to a Friend]. Moscow, Sovremennik Publ., 1990. 559 p. (In Russ.)
10. Dostoevskii F.M. *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 t.* [Complete Works in 30 vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1972-1990. (In Russ.)
11. Zholkovskii A.K. *Poltora rasskaza Babelia: "Giui de Mopassan" i "Spravka / Gonorar"* [One a Half Tales by Babel: "Guy de Maupassan" and "Notice / Honorarium."] Moscow, KomKniga Publ., 2006. 288 p. (In Russ.)
12. Zhukovskii V.A. Pis'mo o brake ego s devitseiu Fon-Reitern, pisannoe v Diussel'dorfe, s 10 Avgusta po 5 Sentiabria 1840 goda [Letter Concerning His Marriage to a Maiden von Reutern, Written in Duesseldorf from August 10 to September 5, 1840]. *Russkaia Beseda* [Russian Conversation]. 1859. Vol. 4. Book 15. Pp. 17-42. (In Russ.)
13. Zhukovskii V.A. *Polnoe sobranie sochinenii i pisem: V dvadtsati tomakh* [Complete Works and Letters: in 20 vols] Moscow, Iazyki slavianskoi kul'tury Publ., 1999 – 2019. (In Russ.)
14. Zorin A.L. Zh.-Zh. Russo i natsional'naia utopiia "starshikh" arkhaitov [J.-J. Rousseau and Senior "Archaists" National Utopia]. *Novoe literaturnoe obozrenie* [New Literary Review], 1996, No. 20, pp. 56–63. (In Russ.)
15. Zorin A.L. *Poiavlenie geroia. Iz istorii russkoi emotsional'noi kul'tury kontsa XVIII – nachala XIX veka* [The Appearance of the Hero: From the History of Russian Emotional Culture in the Late 18th and Early 19th Centuries]. Moscow, NLO Publ., 2016. 568 p. (In Russ.)
16. Kanunova F.Z. *Tvorchestvo Zh.-Zh. Russo v vospriiatii Zhukovskogo* [J.J. Rousseau's Oeuvre in Zhukovsky's Perception]. *Biblioteka V. A. Zhukovskogo v Tomske* [V.A. Zhukovsky's Library in Tomsk]. Tomsk, 1984, part 2, pp. 229–236. (In Russ.)
17. Kirsanova R.M. *Russkii kostium i byt XVIII-XIX vekov* [Russian Customs and Everyday Life XVIII-XIX Cent.]. Moscow, Slovo Publ., 2002. 224 p. (In Russ.)
18. Nabokov V. *Lolita* [Lolita]. Moscow, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1991. 317 p. (In Russ.)
19. Lotman Iu.M. Russo i russkaia kul'tura XVIII – nachala XIX v. [Rousseau and Russian Culture of the 18th and early 19th Century]. *Russo Zh.-Zh. Traktaty* [Rousseau J.-J. Treaties]. Moscow, 1969, pp. 555–604. (In Russ.)
20. Rezanov V.I. *Iz razyskanií o sochineniiakh V.A. Zhukovskogo* [Studies in the Work of V.A. Zhukovskii], part 2. Petrograd, 1916. 620 p. (In Russ.)
21. Russo Zh.-Zh. *Isповед': Progulki odinokogo mechtatel'ia* [Confessions. Reveries of the Solitary Walker]. Moscow, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1949. 708 p. (In Russ.)
22. Timiriazev V. Zhan-Zhak Russo, kak pisatel', myslitel' i chelovek. Kritiko-biograficheskii ocherk, Russo Zh.-Zh. *Isповед'* [J.-J. Rousseau as a Writer, Thinker, and Man. Critical and Biographical Essay, in: Rousseau J.-J. *Confessions*]. St. Petersburg, 1901. (In Russ.)
23. Tiutchev F.I. *Polnoe sobranie sochinenii i pisem v shesti tomakh* [Complete Works and Letters in 6 vols] T. 2. Moscow, Izdatel'skii tsentr "Klassika" Publ., 2003. (In Russ.)
24. Shevryev S. *O znamenii Zhukovskogo v russkoi zhizni i poezii* [On Zhukovsky's Significance in Russian Life and Poetry]. Moscow, 1853. (In Russ.)

25. Shtrange M.M. Zhan-Zhak Russo i ego russkie sovremenniki [Jean-Jacques Rousseau and His Russian Contemporaries], *Mezhdunarodnye svyazi Rossii v XVII–XVIII vv.* [Russian International Relations XVII–XVIII Cent.]. Moscow, 1966, pp. 345–357. (In Russ.)
26. Acher W. Cosmopolites de M. de Wolmar. *Revue d'Histoire littéraire de la France*, 80e Année, No. 3 (May - Jun., 1980), pp. 366–383. (In French)
27. Cranston M. *The Solitary Self: Jean-Jacques Rousseau in Exile and Adversity*. Chicago, University of Chicago Press. 1999. 267 p. (In English)
28. Damrosch L. *Jean-Jacques Rousseau: Restless Genius*. Boston and New York, Houghton Mifflin Company. 2005. 566 p. (In English)
29. Duckworth C. D'Antraigues and the Quest for Happiness: Nostalgia and Commitment. *Studies on Voltaire and the Eighteenth Century*, vols. 151–155. 1976. (In English)
30. Eigeldinger Frédéric S. *Études et documents sur les 'minora' de Jean-Jacques Rousseau*. (Les Dix-huitièmes Siècles, 137). Paris, Honoré Champion, 2009. 334 p. (In French)
31. Nabokov V. *Lolita*. New York, Putnam, 1958. 319 p. (In English)
32. Lettres à Sara. Rousseau J. J. *Collection complètes*. Geneve, 1782. V. 7. Pp. 188–198. (In French)
33. Rousseau, J.J. *Oeuvres: 8 vol.* Paris, Chez A. Belin, Imprimeur-Librairie. 1817. (In French)